



"Крутые горы"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Альберт Лиханов

Крутые горы

Я не понял, что началась война.

Мы сидели на стеганом одеяле под вишнями, чтобы не просквозила земляная сырость, а отец ушел за пивом. Его что-то долго не было, хотя пивом торговали на углу – пять минут ходу, а потом он, вошел в сад – громко хлопнула калитка, и я увидел, что он идет быстро, будто опаздывая, и лицо его напряжено, и вообще что-то с ним такое случилось, потому что пиво не приносят с таким лицом, и немножко удивился, а отец подошел торопливым шагом и остановился у одеяла.

– Война началась! – сказал он, и все ему улыбнулись, не понимая, а потом вдруг вскочили с одеяла, и я отвернулся, уже забыв про отцовские слова, и увидел, как опять дунул легкий ветер и на траву просыпались вишневые белые лепестки, будто в самую жару выпал снег.

Я не понял, что началась война, и позже, когда собралось много родственников и отцовских друзей, все выпивали, как на празднике, а потом отец встал – в черном пиджаке со значком ГТО на серебряной цепочке, надел на крутой лоб крапчатую модную кепку с длинным козырьком и закинул за плечи брезентовый походный мешок.

Все вышли во двор – знойный от жары, зеленый от травы и светлый от солнца и, потоптавшись, помолчав, словно не зная, что прибавить, вдруг стали рассаживаться где попало. Бабушка уселась на бревно, старый такой кряж, который все никак не собрались распилить, мама с отцом на лавочку, а гости прямо на траву – сочную и густую.

Взрослые сидели молча, усадив и меня, а мне все хотелось вскочить и побежать куда-нибудь по прохладной траве. Но меня не пускали. Чья-то тяжелая рука лежала на моем плече, будто груз, и я не мог вскочить, не мог побежать по манящей траве и удивленно разглядывал хмурые лица, краешки опущенных губ и морщины.

Потом все встали, и отец подошел ко мне. Я почувствовал, как он подхватил меня, подбросил вверх, к солнцу, и я счастливо рассмеялся. Я взлетал и взлетал прямо к небу и видел, как разглаживаются хмурые лица внизу, как улыбается бабушка, как смотрят на меня гости, приятели отца. Приветливо и открыто.

Я смеялся, не понимая, что началась война, ничего еще толком не зная, и махал приветливо рукой вслед отцу, радуясь, что напоследок он все-таки догадался, все-таки подарил мне значок ГТО на серебряной цепочке.

Отец шел по пыльной жаркой улице, а справа и слева от него и мамы шли гости; они шагали, взявшись под руки, словно собрались на прогулку, и заняли всю булыжную мостовую. Они еще пели про Катюшу – замечательная такая песня, – отец оборачивался иногда, а я стоял возле бабушки и все улыбался, потому что у меня было хорошее настроение.

* * *

Что такое война, я узнавал постепенно.

Сначала это были письма. Отец посылал открытки с войны, и на открытках была нарисована женщина. В одной руке она держала листок с клятвой, а второй указывала вверх. Вверху же было что-то написано, я разбирал по слогам: «Ро-ди-на-м-ать зо-вет!» – и всякий раз подпирал

кулаком подбородок. Кого это зовет Родина-мать? Получалось, она звала всех, а значит, и меня, но я все не мог придумать, куда идти мне. Пригорюнясь, я вспоминал светлую летнюю улицу, по которой уходил отец с гостями, пытался припомнить его лицо, но оно исчезало, стиралось из памяти, и я пугался этого. Тогда я смотрел на карточку, которая висела над комодом. Отец был там каким-то ужасно молодым, но все-таки очень похожим на себя, и я успокаивался. Но куда же звала меня Родина-мать, я не понимал, как ни внимательно разглядывал открытку. Отец писал какие-то веселые слова – мама всегда читала вслух его открытки, плакала при этом, а мне страшно хотелось понюхать отцовскую открытку, потому что она была желтой, будто пропитанной маслом.

Оставшись один, я нюхал ее тщательно, долго, будто пес, но она ничем, кроме бумаги, не пахла.

Потом мама принесла разноцветные листки. Листки состояли из клеточек с цифрами, и мама сказала, что теперь вся еда будет продаваться только по этим талончикам. И полезла в ларь, посмотреть, сколько осталось у нее довоенной пшенки и гречи. Мама вздыхала, качала головой, говорила, что остались крохи, а я радовался, что теперь меня не будут заставлять есть эти ненавистные каши.

Впрочем, скоро я переменял свою точку зрения, и пшенка в горшочке, с поджаристой румяной корочкой являлась мне во сне как укор и как наказание, потому что мама освоила новое блюдо – завариху.

Завариха была удивительной едой. Я много раз видел, как ее готовила бабушка или мама, и до сих пор помню, как это делается. В горячую воду сыплют муку, добавляют чуть соли, варят – и все в порядке – берись за ложку и проверяй свою жизнь. Если ложка в заварихе стоит торчком – еще ничего, жить можно, мука, значит, есть, а если ложка падает, дело худо, мука на исходе, и значит, за едой мама опять станет вздыхать, а потом подойдет к гардеробу и будет перебирать плечики с одеждой.

Мама сердито двигает плечики, они стучат железными крючками, стучат с каждым разом все громче, потому что все больше в шкафу пустых плечиков.

Один лишь отцовский костюм висел в стороне, укутанный простыней, будто ему холодно и он может замерзнуть. Мама никогда не прикасалась к нему – она двигала свои платья, и каждый раз, как жиге становилась завариха, одно куда-то уносила.

Мамины платья исчезали, а завариха не исчезала никуда, и тогда по ночам мне стали сниться эти маленькие глиняные горшочки с распаренной крупитчатой кашей, покрытой румяной корочкой. Такие горшочки бабушка доставала из печи по утрам в воскресенье, и я начинал понимать, что те воскресенья и те утра были раньше.

Были до войны.

* * *

Во вторую военную осень я пошел в школу.

Парты в нашем классе стояли в четыре ряда, оставляя узкие проходы, такие узкие, что учительница ходила по ним боком. К концу каждого урока становилось жарко и душно, на перемене дежурные строго-настроено всех выгоняли, открывали настежь все форточки. Школа была старая, маленькая, неприспособленная для такого множества учеников, и поэтому коридор в перемену был так забит стриженными наголо головами, что не только разбежаться

было невозможно, но даже продираться сквозь эту толпу приходилось, лишь усиленно работая локтями.

Мне эта толкотня и теснота не казались удивительными, потому что в другой – просторной – школе я не учился, не знал, что может быть как-нибудь по-иному, и я продирался на переменках сквозь ребячью толпу, двигая локтями в бока, сам наезжая на чужие локти и радуясь этой веселой неразберихе.

Школа работала в три смены, первышам, конечно, уступали первую, и подниматься приходилось рано, потому что уроки начинались в восемь.

Зимой мы с мамой выходили из дому, когда была еще настоящая ночь, над головой висели россыпи крупных звезд, хрупал под валенками жесткий снег, на улице горели редкие фонари, похожие на одуванчики оттого, что их свет в морозном воздухе расходился ровным кругом.

Я шагал, еще не совсем проснувшийся, слушал скрип своих шагов, мама вела меня за руку, и иногда я закрывал глаза. В такие минуты я походил на старую клячу, которая может и не глядеть, что делается перед ней, а только послушно поворачивать, когда дергают вожжи. Мама молчала тоже, неуютное утро не располагало к разговору, и если хотела, чтобы я шагал быстрее, тихонько встряхивала мою руку. Не открывая глаз, я прибавлял пару, я чувствовал, что начинается подъем, значит, до школы уже недалеко, и с трудом разлеплял слипшиеся от инея ресницы.

Сколько раз ходил я в школу, столько раз ждал этого торжественного мгновения. Без четверти восемь в морозной тишине вдруг раздавался протяжный сиплый звук, похожий на вой доисторического чудовища. Тотчас ему подтягивал еще один, еще и еще, и вот уже стадо странных зверей выло в один голос. Люди на улицах оживлялись, шли быстрее, некоторые даже бежали, и мама отпускала мою руку, приговаривая:

- Иди скорей! Я побежала!

Она сворачивала к своему госпиталю, прибавляла шаг, а доисторические животные все ревели в один голос, предупреждая тех, кто работает, чтобы они не опаздывали. Они ревели, сипели, наверное, с минуту, а то и больше и утихали так же неожиданно, как и начинали. Это ревели заводские гудки, и я всегда с ужасом думал о них. В первый день, как мы пришли учиться, нам объяснили, что если заводы загудят вот так же, как утром, среди бела дня и будут гудеть долго, это начинается воздушная тревога. И тогда надо бежать в бомбоубежище, надо прятаться в щели, открытые во дворах.

Эти слова пугали меня, и, сидя на уроке, я неожиданно сжимался: мне казалось, что вот-вот загудят все заводы. Но время шло, воздушных тревог не объявляли, только однажды вечером над городом вдруг взвились три голубых прожекторных столба, перекрестились мгновенно. Я был на улице, кажется, мы с мамой ходили отовариваться в магазин, и я подумал, что это ищут немецкий самолет: в небе что-то гудело. Мама, наверное, подумала то же, она прижала меня к себе, но не двинулась с места; мы стояли посреди улицы, как загипнотизированные, и глядели вверх. Прожекторные лучи разбежались в стороны, и тут один из них ухватил своей лапой маленький самолетик. Другие лучи тотчас опять сомкнулись вместе, и в перекрестии белых столбов, расплосовавших небо, я разглядел на крыле самолета звездочку. Летчик покружил неторопливо над городом – видно, это были учения прожектористов, да и заводы не гудели, – но мы с мамой все никак не могли наглядеться на это зрелище, пока прожекторы один за одним не погасли.

Когда мы пошли дальше, я почувствовал, что мама крепче сжимает мою руку.

Тревоги так и не было, в щелях, отрытых во дворах, играли мальчишки, однако стрелки на домах, указывающие, где ближайшее бомбоубежище, время от времени подновляли. Но страх к утренним гудкам у меня не проходил. Шагая за мамой, все никак не в силах проститься со сном, я тревожно думал всякий раз, что сейчас я открою глаза и раздастся этот сиплый вой.

* * *

Но настоящую войну мне показал Вовка Крошкин.

Мы сидели с Вовкой на одной парте, и он вполне соответствовал своей фамилии. Вовка Крошкин был очень маленький, но очень головастый. Головастый во всех смыслах. Он хорошо соображал, особенно по арифметике, а кроме того, его голова была очень большая, круглая и крепкая. Иногда – не злоупотребляя, впрочем, этим – Вовка применял ее как таран, готовый снести на своем пути любую преграду. Во всяком случае – почти любую.

Спорить с этим никто в нашей начальной школе не решался, потому что это свое достоинство Вовка Крошкин продемонстрировал публично, при всех, с ледяным хладнокровием и твердой уверенностью. Однажды на перемене мы с Вовкой продирались, используя локти, к уборной, боясь опоздать, потому что перемена была маленькая, а очередь в уборной, как и обычно, большая. Продираясь первым, Вовка не то наступил на ногу, не то сильней нормы толкнул в бок какого-то ушастого третьеклассника. Тот остановил Вовку за воротник – при этом у Вовки отскочила от ворота пуговица – и больно щелкнул его по голове. Вообще-то Вовкина голова от такого щелчка совершенно не пострадала, она бы выдержала и не такое, но третьеклассник при этом оскорбительно заржал, а поскольку школа была смешанная, засмеялись и девчонки, стоявшие рядом.

Вовка повернулся к ушастому третьекласснику и посмотрел на него мгновение. Я заметил, как в Вовкиных глазах мелькнуло мимолетное сожаление к этому большому, но глупому ушасту, он раскинул руки, как бы собираясь взлететь, уперся ими в толпу, шевелящуюся за спиной, откинул назад круглую, как крепкий капустный кочан, голову и, сделав стремительный шаг вперед, неожиданно воткнулся ею в живот третьеклассника. Тот все еще хохотал, все еще веселился, и вот так, веселясь, с открытым ртом, вдруг сложился вдвое и рухнул на пол.

Вовка Крошкин повернулся и стал как ни в чем не бывало прорубать себе просеку дальше к уборной.

Возвращаясь, я думал, что третьеклассники станут приставать к нам, но то ли ушастый не пользовался поддержкой в своем классе, то ли Вовкина голова действительно произвела сильное впечатление, никто нам не сказал ни слова, даже наоборот, Вовке теперь не требовалось пыхтеть, потому что все перед ним расступались.

Когда начался урок, я почтительно оглядел Вовкину круглую голову. Владелец крутил ею как ни в чем не бывало.

– Больно? – спросил я с сочувствием Вовку.

– Не-а! – ответил он жизнерадостно. – Живот-то мягкий!

И хотя Вовкин ответ был абсолютно логичным, я решил про себя, что такой головой можно сокрушить кое-что и потверже.

* * *

Однажды Вовка опоздал на уроки.

Отгромыхал медный звонок, которым помахивала нянечка в коридоре, вошла в темный класс учительница Анна Николаевна, как всегда кутаясь в мягкий платок и держа в одной руке керосиновую лампу.

Наши тени таинственно задвигались по стенам, наползая друг на друга, учительница поставила лампу на стол, щелкнула спичкой, зажгла свечку у кого-то на первой парте и двинулась с нею по узкому проходу между рядами.

Эта каждоутренняя церемония ужасно нравилась мне. Анна Николаевна шла по рядам и зажигала на партах, словно на елке, свечи от своего огонька. Класс постепенно выплывал из черноты, озарялся колеблющимся сиянием, только высокий лепной потолок старинного дома оставался в полумраке.

Эти пять или десять минут, пока учительница освещала класс сиянием свеч, которые мы носили в портфелях вместе с чернильницами-непроливайками и тетрадками, сшитыми из довоенных газет, вообще-то можно было бы не считать еще уроком, хотя звонок уже и отгремел, да так оно и было в других классах.

Но Анна Николаевна говорила, что это безрассудство, что учиться можно и в некотором мраке - ничего страшного, - и начинала спрашивать, едва ставила на учительский стол керосиновую лампу.

Она шла по узким рядам, зажигала наши свечи, а кто-нибудь, названный ею, уже бойко тарабанил ответ или, напротив, мялся и мемекал, пытаясь использовать полумрак в своих целях. Но учительница все видела, все понимала, и до полного освещения можно было вполне схлопотать пару за подсказку, потому что больше всего не любила Анна Николаевна обмана.

Словом, Вовка Крошкин - учись он в другом классе, мог бы считать себя совсем не опоздавшим, потому что свечки горели еще не на всех партах, когда он возник на пороге, отдуваясь и поблескивая белками.

Но Нинка Правдина заканчивала ответ, как всегда замахиваясь на пятерку, Анна Николаевна, довольная ею, кивала головой, зажигая последние свечки, и вовсе, казалось, не замечала Вовку.

Это был такой прием, такой способ проявления строгости, потому что если Анна Николаевна не замечала опоздавшего, значит, она очень сердилась, очень негодовала на его недисциплинированность, и только крайне уважительная причина могла спасти виноватого.

Нинка Правдина уселась, взмахнув от восторга косичками, заработала аккуратную пятерочку в журнале, а Анна Николаевна все не замечала Вовку, хотя зажгла уже свечи и теперь двигалась к столу.

В грозном молчании, в трепете колышущихся язычков пламени она уселась за стол и оглядела класс, похожий на таинственную пещеру.

- Ну, - сказала она сухо, не глядя на Вовку, - где был?

- Это... я... - бойко ответил Вовка, - бегал к реке...

Только исключительный случай мог бы спасти Вовку, а он молотил какую-то несусветную чушь, какую-то городил ерундовину, и учительница, вскинув брови, вглядывалась в безответственного Крошкина.

Вовка топтался на пороге, мял в руке мохнатую шапку, которая, когда он ее надевал, делала его голову похожей на небольшой воздушный шар.

- На реку! - воскликнула Анна Николаевна.

- Ага! - бодро согласился Вовка. - Там, в тупике, санитарный поезд...

Эти слова поразили меня. Только что, сию минуту, я насмеялся над Вовкой Крошкиным, удивляясь, какую он несет ерундовину, удивляясь его несообразительности - не мог будто бы соврать что-нибудь, ведь уж не такой великий грех опоздать на десяток минут, когда еще и урок-то толком не начался. И вдруг мне стало стыдно. Смертельно стыдно.

Я плетусь по утрам за мамочкой, как теленок, закрыв глаза и ничего не соображая оттого, что хочется спать, иду, уцепившись за мамину руку, будто не могу пройти сам, и ничего меня больше не интересует, словно я последний какой-нибудь детсадовец, а вот Вовка... Вовка - человек. Вовка пронюхал откуда-то про санитарный поезд и уже сбегал туда, к реке, где есть железнодорожный тупик, и все разузнал.

Круглоголовый коротышка Вовка рос в моих глазах с каждой секундой, его опоздание было уже не виной, а благородством. Мельчайшие детали выплывали из моей памяти - и Вовкина решительность, когда он врезался головой в живот противника, - настоящий таран! - и его смелость - не побоялся один пойти этим темным утром к тупику! - и даже то, что Вовка в школу ходил один, никто никогда его не провожал, не тянул на веревочке, как меня, - все это озарилось новым светом, и я уже был готов вскочить, потрясая язычки пламени наших свечей, чтобы защитить Вовку от гнева учительницы, когда Анна Николаевна вдруг кивнула головой и сказала тихо:

- Садись!

Вовка стремительно разделся, повесил пальто и шапку на свободный крючок, вбитый в стенку класса, потому что все мы раздевались там же, где и учились, и, еще тяжело дыша, уселся рядом со мной.

Все глядели на Вовку с удивлением и интересом, пока не раздался негромкий стук.

Я повернулся. Это стучала Анна Николаевна указкой по столу, обращая на себя внимание.

Я вгляделся в учительницу, и мне стало не по себе. Ее лицо вытянулось и напряглось.

- Они приходят часто, - сказала она вдруг и повторила бесцветным голосом, будто это был диктант, - санитарные поезда приходят часто.

- А я не знал! - сказал Вовка, и Анна Николаевна вздрогнула.

И я не знал тоже. И никто никогда не говорил мне, что к нам в город приходят санитарные поезда, даже мама, хотя она работала в госпитале. «Вот дурак! - обругал я себя. - Ведь раз мама работает в госпитале, значит, раненых привозят! Это же понятно всякому!»

Да, это было понятно всякому, а мне было непонятно, не мог я сам догадаться, что раненых

привозят, и спросить у мамы, как их привозят, простофиля разэтакий.

- Часто! - повторила глухим голосом Анна Николаевна, хоть и глядя на нас, но никого не видя. Потом она встрепенулась, будто сбросила с себя это странное оцепенение - никогда еще я не видел ее такой, - и встала из-за стола.

- Вы знаете, почему такие узкие проходы между рядами в нашем классе? - спросила Анна Николаевна настойчиво и ответила сама себе: - Потому что идет война и школы в нашем городе, большие и удобные, отданы раненым, там госпитали... Вы знаете, почему вы пишете на старых газетах, а не на тетрадях? Потому что идет война и фабрики, где делали тетради, - разрушены... Вы знаете, почему вместо ярких лампочек у нас горит керосинка, а на партах свечки? Потому что энергии не хватает заводам, потому что заводы работают на всю мощь, чтобы сделать побольше снарядов!

- Знаем! - крикнул яростно Вовка, и я снова с восхищением, как бы новыми глазами оглядел его.

- Мало знать! - ответила ему Анна Николаевна, отходя к окну и всматриваясь в медленно расступающуюся темноту. - Надо понимать...

Она долго смотрела за окно и, повернувшись, повторила:

- Надо понимать...

Учительница снова оглядела класс посвежевшими, как бы умытыми глазами и вдруг сказала негромко:

- Давайте сходим после уроков... Вова Крошкин будет провожатым.

И хотя она не сказала, куда сходим, хотя никто не произнес ни звука, все поняли, куда предлагает сходить Анна Николаевна. Все поняли, что она зовет сходить к санитарному поезду, и все, наверное, благодарно удивились ее словам.

В этот день Анна Николаевна так больше никого и не спросила, кроме Нинки Правдиной, а только рассказывала про то, как генералиссимус Кутузов заманил Наполеона в Москву, и там, в горящей Москве, этот наглый завоеватель вдруг понял, что он проиграл войну, хотя выигрывал все сражения и даже выиграл сражение под деревней Бородино, и бежал в свою Францию, бросив с позором войско. Еще Анна Николаевна читала нам стихи про это Бородино и еще басню Крылова про волка, который забрался на псарню, потому что в этой басне намекалось на Кутузова и Наполеона.

Анна Николаевна говорила, а в классе было так тихо, что даже свечечные огоньки не трепетали, а словно застыли, словно они неживые были или сделаны из стекла.

Я слушал, как рассказывала Анна Николаевна, взглядывал изредка на Вовку, и он отзывался понимающе, и отчего-то мне щипало в глазах, в горле возникал непонятный комок, и мне хотелось заплакать или сделать что-нибудь замечательное.

После уроков, быстро одевшись, мы шли четкими парами к реке, к железнодорожному тупику, соблюдая строй и самостоятельно подравнявшись. Анна Николаевна торопилась за нами, оборачиваясь, я ловил ее улыбку, тыкал Вовку Крошкина в бок и приговаривал:

- Постой-ка, брат мусью!

Вовка меня понимал, прекрасно понимал, удивительный головастый человек, и отвечал в том же тоне:

- С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!

Мы негромко смеялись, довольно поглядывая друг на друга, шагали в ногу, печатая старыми валенками хрустящий шаг, и серьезнели, вспомнив, куда идем.

* * *

Берег круто срывался вниз. Под горой в железнодорожном тупике, подле самой воды, стоял поезд с белой от снега крышей и красными крестами по бокам.

Там шла суетня.

Подходили грузовые газогенераторки, орали на лошадей возчики, женщины в белых косынках поверх платков таскали носилки.

На носилках, укрытые серыми одеялами, лежали люди. Раненые!

Все, что делалось под горой, казалось мне развороченным муравейником - маленькие черные фигурки беспорядочно торопились на белом снегу, - но не эшелон поразил меня.

Рядом с нами на крутом берегу стояли женщины.

Они стояли по двое, редко по трое, а больше всего поодиночке - большие и маленькие, старые и молодые, но все на одно лицо, - кутали в рукава ладони и молча, скорбно глядели вниз, на эшелон.

Над головами глухо стучали друг о друга, будто крылья недобрых птиц, голые ветки мерзлых тополей, и я пронзительно понял вдруг, что случилась какая-то беда. Беда эта ужасная, непоправимая, и ничего нельзя было с ней поделать, и эти ветки, похожие на птиц, они - правда, птицы, от которых нельзя укрыться.

Я подошел к краю обрыва и обернулся, чтобы увидеть их лица. Некоторые женщины беззвучно плакали. А другие - нет, не плакали, и лица их были угрюмы. Одна женщина поразила меня особенно.

Она стояла одна; она была еще совсем молодая, но платок, низко надвинутый на лоб, делал ее старухой. Я посмотрел на эту женщину, и мне сделалось страшно. Ее глаза были прозрачны, как бы пусты, и мне неожиданно показалось, что эта женщина сейчас сделает шаг вперед. Сделает шаг вперед и бросится вниз с обрыва.

Я подбежал к ней, чтобы остановить, но она даже не заметила моего приближения. Она стояла, по-прежнему глядя вниз остекленевшими глазами, и мне показалось, что женщина слепая.

Кто-то тронул меня за плечо. Это был Вовка.

- Пойдем вниз, к эшелону, - шепнул он, но я никак не мог отойти от женщины: а вдруг она правда бросится вниз.

Вовка потащил меня за рукав к учительнице и стал проситься, чтобы она отпустила нас двоих к эшелону.

- Ну, сходите, - сказала Анна Николаевна и тронула меня за плечо: я все еще смотрел на ту женщину с пустыми глазами.

- Ей не поможешь, - сказала Анна Николаевна, вздыхая. - Им не поможешь...

Я вздрогнул. «Неужели? - подумал я. - Неужели?..» И враз, в минуту мне стало понятно, почему они тут стоят, эти женщины.

Почему они стоят здесь, а не идут вниз, к эшелону...

* * *

Внизу эшелон снова показался мне муравейником.

Торопливо сигналили машины, буксуя на обледенелом подъеме, возчики, которые вблизи оказались возчицами, безжалостно лупили лошадей, ругаясь грубыми мужскими голосами, и кони, высекая копытами грязный лед, выволакивали, напрягаясь, сани, в которых лежали раненые.

Вовка тащил меня, умело разбираясь в этом хаосе, проскакивая между подводами и машинами, между тревожными женщинами в белых косынках поверх платков, и как-то незаметно мы очутились возле самого поезда. Но Вовка не успокоился. Он шагал вдоль вагонов и наконец остановился около одного, протянув руку:

- Гляди! - проговорил он, и я увидел, что окна в вагоне без стекол - только в углах торчат острые, похожие на ножи осколки, а обшивка вагона в разных местах пробита рваными дырками.

- Бомбили! - сказал Вовка, и я со страхом представил себе, как вот в этот вагон, возле которого я стою и до которого могу свободно дотронуться рукой, ударили бомбовые осколки, как разом вылетели окна, хотя они, наверное, и были заклеены крест-накрест бумагой, чтобы выдержать эту волну. Но взрыв был близко, полоски бумаги не спасли, и, может быть, раненые, лежавшие на второй полке, упали на пол.

Я поежился и оглянулся. Сзади фыркнула и испуганно заржала лошадь. Тетка-возчица подгоняла ее к вагону, к самой подножке, но лошадь норовила повернуть в сторону или пройти вперед. Тетка яростно ругалась, хлопала вожжами, осаживала сани, конь всхрапывал и косил глазом.

В проходе раненого вагона показалась сутулая женская спина, она двигалась к выходу, ноги в ботах ощупывали каждый маленький шажок. Наконец женщина в белой косынке встала на первую ступеньку, потом еще на одну. Возчица подскочила к ней, стала помогать, но носилки были очень тяжелые, и мы с Вовкой, перегоняя друг друга, кинулись помогать вытаскивать раненого бойца, но возчица крикнула нам грубо:

- Отойдите! Отойдите! - И выругалась.

Та, вторая, повернула к нам лицо, и я тихонечко взвизгнул от радости: вот здорово, это была мама! «Ну, теперь-то она скажет этой возчице, чтоб не ругалась, даже обрадуется!» - подумал я и снова кинулся помогать, но мамино лицо сделалось белым, и она крикнула грубым, как у возчицы, голосом:

- Отойди! Отойди!

Я еще никогда не слышал, чтобы таким голосом кричала мама, и, отступив, обиделся, но тут же забыл про все.

Мама и тетка, помогавшая ей, вытащили, высоко поднимая над головой, носилки – с другой стороны их держал усатый санитар в летной пилотке, и мы увидели жуткое.

Тот, кто лежал на носилках, был укрыт с лицом, но серое одеяло оказалось коротким, и из-под него виднелись желтые, словно восковые, ноги. Санитар и мама с теткой положили носилки в сани, санитар полез обратно в вагон, а мама подбежала к нам, схватила меня и Вовку за плечи и потащила в сторону, подальше от вагона и храпящей лошади. Мама тяжело дышала, бусинки пота покрывали ее лицо.

- Вы откуда?! – торопливо, не слушая наших ответов, восклицала она. – Вы как тут?! Уходите, сейчас же уходите!

Ее окликнули. Я хотел было повернуться на голос усатого санитара, но мама больно стукнула меня по щеке.

- Не смотри! – прикрикнула она. – Не смотрите!

Я не обиделся, я понял и послушался ее, и Вовка послушался тоже.

Не оборачиваясь, мы побежали вперед, долго, до пота, до стука в висках взбирались по узкой, обледенелой тропе наверх, на обрывистый берег, где нас ждала Анна Николаевна и весь класс.

Наверху все было как прежде. Тополиные ветки глухо хлопали над головами, стояли женщины, скорбно сжав губы, вглядываясь в эшелон. Анна Николаевна была среди девчонок с посиневшими носами, куталась в платок и внимательно глядела на нас.

Вовка, покачивая головой, маленьким воздушным шаром, подошел к учительнице первым.

- Там убитые! – сказал он громко.

Меня трясло, я старался сдержаться, но чувствовал, как помимо моей воли губы разъезжаются в стороны, а учительница и ребята расплываются, как будто я вижу их сквозь затуманенное стекло.

Я вдруг вспомнил отца и тот беспечный для меня летний день.

Отец шел, сцепившись под руку с друзьями, они перегородили всю мостовую и пели про Катюшу.

А я смеялся ему вслед и радостно махал рукой, дурачок!..

* * *

Я не знаю, почему я подумал об отце.

Может быть, все-таки есть волны, которые передаются от человека к человеку? Может быть, предчувствие это не суеверие, не предрассудок, а что-то другое?

Я вздрогнул там, на берегу, подумав про отца.

И снова вздрогнул ночью. Меня будто кто-то толкнул, и я проснулся, подумав вдруг, что с

отцом случилось несчастье.

В ночной тишине мерно тикали ходики, натопленная, белеющая в темноте печка дышала теплом, а мне было тревожно и неудобно, и никак не шел сон.

Вечером мама наказывала мне, чтобы я больше не ходил на берег, к тупику, чтобы не слушал Вовку Крошкина, если он станет звать меня снова. Мама сердилась, говорила, что Анне Николаевне она скажет сама про такую странную экскурсию, и я не обижался на маму за эти слова.

Она, конечно, рассчитывала, что я ее не пойму, а я прекрасно понимал. Отлично понимал, почему она сердится на Анну Николаевну, на меня, на Вовку, понимал теперь, почему она ни разу не сказала про санитарные эшелоны, про то, что она таскает на носилках раненых, и вот – даже погибших. Теперь мне все было понятно, все до последней капельки.

Мама старалась скрыть от меня войну.

Мама старалась, чтобы я про нее знал поменьше. Ел бы себе завариху, ну, слушал радио, тут никуда не денешься, не заткнешь же мне уши, и бегал бы в школу, учился себе на здоровье!

Смешно просто думала мама... Взрослая, а рассуждала как ребенок... Да разве же скроешь ее, войну, разве упрячешь ее куда-нибудь подальше?

Вот она, вся на виду, правильно говорила Анна Николаевна, – и свечки в классе, и тетрадки из старых газет, а сегодня – это страшное, куда его денешь? Я вспомнил желтые, словно восковые, ноги, изрешеченный осколками вагон, и мне стало горько.

– Гады, – прошептал я, – гады! – И сжал кулаки, вспомнив открытки, полученные от отца, женщину, нарисованную на этих открытках, и слова «Родина-мать зовет!».

Я думал не раз про эти слова, женщина с платком на плечах обращалась ко всем, значит, и ко мне, значит, и меня звала защитить Родину-мать, но я не знал, что мне делать.

Теперь я знал, что делать мне, обыкновенному первоклашке.

Убегать на войну было глупым, смешным, несерьезным – я это понимал. Это все равно что путаться под ногами у взрослых, только отвлекать их и мешать им. Значит, Родине нужно было помогать здесь. Например, шить кисеты, в третьем классе девчонки шили кисеты и вышивали цветными нитками: «Храброму бойцу». Конечно, шить – девчачье дело, но сейчас шла война, и предрассудкам было не место. Шить так шить. Пусть курят бойцы махорочку.

Я ворочался с боку на бок, представлял сшитые мною кисеты, набитые табаком. Много-много кисетов, и на каждом вышито красными нитками – нет, не «Храброму бойцу», это пусть вышивают девчонки из третьего класса, а мои, мной придуманные слова: «Бей врага!» Впрочем, эти слова тоже показались мне слабыми, можно было вышить – «Смерть фашизму!» или «Смерть фашисту!». Так было понятнее, и я, прикрыв глаза, попробовал представить себе фашиста.

Фашист походил на такого, каких рисовали на плакатах, – в рогатой каске, с вытаращенными глазами. Рукава у фашиста были закатаны, в волосатых, как у обезьяны, руках он держал дымящийся автомат.

Фашист был ужасен, отвратителен. Я вздрогнул и сказал громко, отчаянно:

- Гад, гад! - Ведь этот фашист убил бойца, которого несла мама.

На маминой кровати зашелестела простыня.

- Ты что? - спросила она тревожно.

- Гады эти фашисты! - сказал я громко. - Убили того бойца.

Мама помолчала.

- Если бы одного! - сказала она вдруг и, словно спохватившись, добавила: - Ты спи, спи!

- Спи, - обозлился я, вспоминая открытку. - Родина-мать зовет, а я спи!

Мама молчала. Я думал, она станет ругаться, а она молчала.

- Родина-мать зовет взрослых, - сказала мама, стараясь быть спокойной, но голос у нее зазвенел отчего-то. - А ты должен учиться. Ты должен учиться хорошо, гулять и спать, тебя Родина к этому зовет.

Станный человек! Она говорила со мной, как с маленьким. Учиться, гулять, спать!

- Учиться, гулять, спать! - повторил я вслух эти слова и прибавил, снова вспомнив про отца, ведь это его могли нести сегодня в носилках: - Да я их ненавижу! Ненавижу!

Мама мне говорила что-то, требовала, чтобы я спал, а я, сжав зубы, решил, что у меня будет два дела теперь. Я буду шить кисеты. И я буду ненавидеть немцев, этих проклятых гадов.

Ненависть - это не занятие, ненавидеть нельзя специально, как, например, шить кисеты. И кроме того, я ведь не видел живых фашистов.

Но я видел две желтые голые ступни убитого ими бойца.

Я видел страшное, и ненависть была для меня делом, на которое звала меня, первыша, Родина-мать.

* * *

Утром мы вышли пораньше, потому что мама хотела увидеть Анну Николаевну. Я не сопротивлялся, не возражал, ну, пусть поговорит, если хочет, ведь Анна Николаевна ни в чем не виновата. Все равно мы пошли бы к санитарному эшелону, все равно бы Вовка показал мне изрешеченный осколками вагон, в котором выбиты стекла, и Анна Николаевна тут ни при чем.

Было темно и морозно, как каждое утро, скрипел под ногами снег, как всегда. Одно было не как всегда. Я шел с открытыми глазами, шел рядом с мамой, не отставая от нее и не давая ей свою руку.

Мама удивленно поглядывала на меня сверху, но ничего не говорила, и я был благодарен ей, что она меня понимает.

Мы уже подошли к школе, как вдруг я увидел Вовку Крошкина. Небольшой воздушный шар на тонкой подставке летел нам навстречу от школы. Увидев нас, Вовка будто споткнулся и выпалил:

- Уроков не будет! Учительнице похоронка пришла!

- Какая похоронка? – спросил я впустую, зная, догадываясь, понимая, что за похоронку принесла Анне Николаевне почтальонша, и почувствовал, как крепко сжала меня за плечо мама.

- Пойдем! – сказала она глухо. – Пойдем! – И, резко повернувшись, повела меня назад, к дому.

Вовкины шаги слышались за спиной, я знал, что ему некуда идти, все у него на работе, и неуверенно спросил маму:

- Можно, Крошкин к нам пойдет?

Мама кивнула, но тут же остановилась.

- К нам? – спросила она сама у себя, и я понял ее: у нас ведь тоже дома было пусто, бабушка уехала в деревню менять на муку мамины вещи.

- Ну, ладно, – сказала мама, – дома холодно и никого нет. Пойдемте ко мне.

Я не поверил своим ушам. «Ко мне» – значило на работу к маме. В госпиталь. В ее лабораторию. Никогда еще мама не брала меня с собой на работу, а сегодня предложила сама, да еще со мной будет Вовка.

- Только слушаться! – сказала мама. – И никуда не бегать, у нас строгий начальник...

Мамин госпиталь был в бывшем театре, и, подходя к нему, я подумал, что раненые лежат, наверное, в зрительном зале и на сцене. Но ни на сцену, ни в зрительный зал мама нас не пустила, она натянула на нас длинные халаты, загнула рукава, а полы засунула за пояс и повела нас с Вовкой, похожих на разведчиков в маскхалатах, по темному и узкому коридорчику, в котором стоял запах щей из кислой капусты.

Нам попался всего один раненый, да и то на раненого он не походил – шел себе дядька в халате. Ноги у него были в белых кальсонах, подвязанных тесемками. Он быстро прошаркал мимо мамы и нас, наверное стесняясь своего вида.

Потом мы пришли в маленькую комнату, где сидели две тетеньки в белых халатах. Увидев нас, они заохали, запричитали, но мама быстро усадила нас за шкаф и велела сидеть тихо.

- Учительнице похоронка пришла, – объяснила она женщинам, и они разом вздохнули, ничего не ответив, и склонились над какими-то приборами, у которых внизу блестело зеркальце.

Мы с Вовкой сидели на одном стуле, тесно прижавшись друг к другу, и я думал про Анну Николаевну. Вчера мы с Вовкой видели убитого бойца, а сегодня узнали, что кто-то погиб у Анны Николаевны. У нашей учительницы. Может быть, муж. Или брат. Или даже сын. Анна Николаевна никогда не говорила нам, кто у нее есть. Она приходила в школу всегда строгая, подтянутая, и мне всегда казалось, что учительница не обращает на войну внимания. Будто нет никакой войны.

Она строго спрашивала по арифметике, по русскому, по чтению, она требовала, чтобы мы старались делать тонкие волосковые линии в буквах на уроках чистописания и никогда не говорила про войну.

До вчерашнего дня. До того, как опоздал на урок Вовка Крошкин, узнавший про санитарный поезд.

А сегодня учительнице принесли похоронку.

Я вспомнил, что говорила мне вчера мама. Как ворчала она, думая, что войну можно спрятать. Анна Николаевна тоже не говорила нам про войну. Но она все-таки раньше мамы сказала нам про электричество, про тетрадки, про генералиссимуса Кутузова, а потом повела нас на берег. Она поняла, что от войны никуда не денешься. И не делась сама.

Вовка наклонился ко мне и шепнул:

- А чего это они делают?

Я не знал, что делала мама, заглядывая в свой прибор.

- Мама! - спросил я. - А нам можно посмотреть?

Мама повернула ко мне воспаленные, словно заплаканные глаза и посмотрела на нас внимательно, будто жалела о чем-то.

- Ну, посмотрите, - сказала она.

Мы с Вовкой вылезли из-за шкафа, разминая затекшие ноги, и я первый заглянул в железную трубку со стеклянным глазком.

Передо мной было розовое поле с голубеющими краями. В поле лежали точки и палочки.

- Что это? - спросил я, отрываясь от прибора.

- Микроскоп, - ответила мама.

- Нет, что там? - я постучал по трубке.

Мама замялась.

- Кровь, - сказала одна из женщин. - Это кровь, деточка.

Оттеснив меня, в микроскоп заглядывал Вовка, а я все не мог поверить тому, что сказала женщина. Ведь кровь бывает густая и красная, а там были какие-то точки и палочки.

- Человечья? - спросил Вовка, отодвинув свой шар от прибора.

- Человечья, - грустно подтвердила мама, - людская.

* * *

Уже темнело, когда мы возвращались домой, проводив Вовку. Мама была хмурой и неразговорчивой, но, увидев открытую дверь, повеселела:

- Вот и бабушка приехала! - сказала она, а я с тоской подумал про пшенку с поджаристой корочкой или гречневую кашу с молоком.

Мы вошли в комнату, и мама окликнула бабушку, но никто не отзывался. Мама подошла к

столу и вдруг страшно вскрикнула. Я подбежал к ней и увидел, что шкаф, где висела одежда, настежь открыт, и в нем больше ничего нет. Ни маминых платьев, ни отцовского костюма, который висел тут, завернутый в простыню. Только смятая простыня валялась на полу.

Я обернулся. Верхний ящик комода, где мама держала деньги и карточки, был наполовину выдвинут. Мама перехватила мой взгляд и подбежала к комоду. Она заглянула в ящик, сунула руку, пошелестела бумажками.

- Карточки! - воскликнула она и заплакала, обессиленно опустившись на стул.

Плакала мама недолго. Велев мне сидеть и ждать, она побежала в милицию, а я все не мог взять в толк, что нас ограбили. Мне все казалось, что это шутка, ну, бывает же, соседи, например, решили разыграть нас - ха-ха? - сейчас кто-нибудь постучит и внесет отцовский костюм на строганных деревянных плечиках.

Но никто не стучал, и я подошел к двери. Замок был испорчен, планка, сдерживающая щеколду, была выворочена и порвана, будто это не железо, а какая-нибудь там фанера. Воры разворотили замок начисто, и, разглядев это, я испугался: они ничего не боялись. Я представил, как воры - двое или трое, с коротким ломиком в руках, ломают наш замок, трещит железо, а они зло матерятся, не стесняясь никого, потому что, считай, все на работе, и даже обрадовался, что сегодня нам с Вовкой так повезло, да и бабушке тоже, ведь дома никого не было, а то этим бандитам и убить недолго ради тряпок.

Я ненавидел бандитов, я представлял себя среди них не просто так - с портфельчиком в руке, а, скажем, с гранатой, я представлял, как они доламывают замок, нагло матерятся, а я стою за косяком с поднятой рукой и сжимаю гранату. Они хряпают дверью и рвут ее, наконец, открывают, а я возникаю в проеме и велю им ложиться, и они падают и трясутся, сволочи, а я веду их во двор, но не затем, чтобы отвести в милицию, нет, у меня не осталось к ним никакой жалости, никакого милосердия, потому что ограбить людей, когда идет война, - это настоящий фашизм, а к фашистам нет у меня пощады, - я веду их во двор, велю шагать вперед, и когда они отходят подальше, швыряю гранату.

Меня всего колотило, меня трясло - кража только сейчас доходила до моего сознания: исчезнувший костюм и украденные карточки не произвели на меня впечатления - их не было и все, но я увидел вывороченный замок, и теперь меня колотило. Я видел следы жестокой и беспощадной силы и мечтал, горячо мечтал так же беспощадно свести счеты, нет, я не повел бы их в милицию, этих бандюг, я вывел бы их во двор и метнул в них гранату. Надо только, чтобы побольше собралось народу. Надо, чтобы я не просто взорвал их, а казнил. При всех людях.

В сенцах стукнуло, и я сжался: мне показалось, бандиты вернулись. Но вместо бандитов в дверях появилась мама.

Она привела милиционера с собакой, но уже стемнело, пес молчаливо побегал по двору, глухо поворчал, раззадоривая себя, ничего у него не получилось, и пес бессильно, как человек, признающий свою беспомощность, поглядел на милиционера.

Милиционер не удивился, посмотрел равнодушно на пса и устало сказал маме:

- Пишите заявление - что украли, какие вещи... И подробнее... Будем искать.

- Найдете? - спросила мама с надеждой.

- Будем искать, - равнодушно повторил милиционер.

- Костюм! Костюм мужской особенно, - попросила мама умоляющим голосом. - Мужа костюм... Понимаете?..

- Понимаю, - ответил милиционер, - вы напишите, я-то уйду на фронт, поэтому отдадите куда приходили...

Вечером мама сидела, уставившись в одну точку, время от времени принималась плакать, и тогда я вторил ей, подвывая. На сердце скребли кошки. Вчера я думал про отца, поняв, что такое война. А сегодня нас ограбили, и хотя без карточек жить нельзя, как нельзя жить без крошки хлеба, меня пугало не это. Меня пугало, что украли отцовский костюм, который так берегла мама.

Это была нехорошая примета.

* * *

Спасти нас могла только бабушка, но ее все не было, и последние два дня мы ложились спать, попив лишь горячего кипятку. Сперва я безумно хотел есть, и жалкие куски, которые приносила откуда-то мама, только разжигали к еде ненависть - все равно ее не было; куски не насыщали, а раздражали. Потом, как-то совсем неожиданно, голод исчез. Редкие куски не вызывали никакого интереса, и я удивлялся, зачем мама силком заставляет меня есть: она могла бы поесть и сама, я знал, что она вообще ничего не ела, а я не хотел, - объяснить это было невозможно, - не хотел, и все тут, но мама плакала, держала передо мной черный ломтик, и этот ломтик плясал у нее на ладошке. Я удивлялся - чего она плачет? - вяло жевал и чувствовал себя прекрасно - какая-то легкость была во мне, необыкновенная легкость. Правда, порой в ушах возникал шум и негромкий звон.

Но потом звон стал нарастать, и я незаметно свалился со стула. Впрочем, что свалился, я понял уже потом, когда очутился на полу, а возле меня причитала мама, держа передо мной кружку кипятка. Я удивился, как это вдруг очутился на полу, хлебнул воду и удивился еще больше - она была сладкая.

Наутро мама не пустила меня в школу, и я блаженствовал в теплой постели, пока не рассвело. Странно, мама тоже была дома. Я удивился, но не очень, как-то издали словно бы удивился, стал одеваться, и мама мне помогала, как маленькому. Я делал все словно во сне, где-то глубоко в голове звенели далекие колокольчики, это было неплохо, главное, чтобы они не зазвонили громче, а то опять свалишься со стула, надо держать себя в руках, - я делал все как бы во сне, так же, почти во сне, прислушиваясь к колокольчикам, потом пошел вслед за мамой куда-то по улице.

Не знаю, долго ли мы брели, наверное, все-таки долго, потому что останавливались несколько раз, и мама меня спрашивала: «Ну, как?» - и я кивал головой ей в ответ, - ведь говорить мне было лень.

Потом мы зашли в какой-то дом, мама размотала мне шарф, разделась сама, сложив на скамейке, рядом со мной, свое пальто, и велела его караулить.

- Ты не засыпай! - говорила почему-то мама. - Не засыпай! - Хотя я выспался только что и засыпать совсем не собирался.

Но мамы не было очень долго, и я в самом деле стал кемарить. Правда, сквозь сон я цепко

держался за мамино пальто – не дай бог украдут и его, как мы тогда станем жить, просто невысказано. Я дремал, время от времени вздрагивая и озираясь, а мама не шла, и бороться со сном становилось все труднее.

Наконец хлопнула дверь.

Наверное, от этого хлопка я испуганно вздрогнул, сон отпустил меня, и я с особенной ясностью увидел маму. Она стояла, прислонившись к двери, и ее лицо показалось мне страшным.

Черные полукружья прорезались у нее под глазами уже давно, и не это удивило меня. Сейчас мамино лицо было зеленым. Один рукав платья был у нее загнут, и выше локтя мама прижимала к руке кусок ваты.

Она шагнула к скамейке, села рядом со мной и уронила голову.

Я бросился, испугавшись, к ней, но она слабо улыбалась, отмахиваясь от моих тревожных слов, и я немножко успокоился.

Мы посидели, мама отняла от руки вату, и я увидел кусочек запекшейся крови.

- Что это? – испуганно сказал я, но мама опять улыбнулась.

- Ничего, ничего, – сказала она, – так надо, идем! – И стала натягивать пальто.

Обратно мы шли еще медленнее, колокольчики опять звенели у меня в голове, и я уже не обращал внимания на маму – мы просто шагали, держась друг за друга, тихо передвигая ноги, и мне было все равно, куда мы идем.

Пришел я в себя на каком-то низком подоконнике. Снизу веяло приятной прохладой и, скосив глаз, я увидел, что подоконник кафельный. Белые плитки походили на белый шоколад, мне до смерти захотелось лизнуть подоконник, и я едва удержался от этого.

- Ну вот, – услышал я тяжелый голос мамы. – Ну вот, теперь ешь!

Я поднял голову. Мама держала в руках какие-то кульки, она раскладывала их на подоконнике рядом со мной, и я увидел, как из одного высовывается кусочек масла. Не того, не похожего на отцовскую открытку, а настоящего, желтого, как яичный желток, топленого масла.

Мама перехватила мой взгляд и раскрыла кулек, протянула мне светло-желтый кусочек. Я, будто птенец, открыл рот и услышал, как тает во рту, как течет по горлу расплавившееся масло.

- Откуда? – спросил я слабо.

- Ешь, – ответила мама и дала мне еще кусочек.

Я сосал масло, будто леденец, оно плавилось, исчезало во мне, и вместе с кусочками масла затихали колокольчики в глубине головы.

- Откуда? – снова спросил я маму.

- Это такой паек, – сказала она, чтобы отвязаться, но я уже отошел, и мысли мои приходили в порядок. Магазин был мне незнакомый, народу в нем почти не было, не то, что в нашем, к которому мы прикреплены, да и никогда мы не получали таких пайков, которые лежали в

маленьких кулках – из одного даже высовывались конфеты. Я приходил в себя от желтенького масла, которое таяло во рту, и все больше понимал, что тут что-то не так. Не бывает таких магазинов.

- Откуда? – спросил я снова маму, и, увидев мою настойчивость, она, наконец, ответила:

- Ну, это такой паек... донорский.

Донорский! Это слово я знал, потому что на всех углах в городе висели плакаты. На плакатах были нарисованы розовощекие тетеньки и красные кресты с красными полумесяцами. Донорами назывались женщины, которые сдавали свою кровь, только эти женщины должны быть румяными, а у мамы было зеленое лицо.

- Ты сдала кровь! – крикнул я, понимая уже, что крик этот пустой, понимая, отчего в том доме мама прижимала к руке вату с запекшейся кровью.

Мама молча кивнула, улыбаясь отчего-то, глядя на меня приветливо, и я вдруг вспомнил, как мы с Вовкой глядели в микроскоп. Розовые точки и палочки плавали перед глазами – это была кровь. «Человечья?» – спросил тогда Вовка. «Человечья, – ответила ему мама, – людская».

Людская! Я знал это слово – донор, но никогда не думал, что людскую кровь можно продать, можно обменять, будто какое-нибудь тряпичное пальто или платье, на еду.

Я посмотрел на кулечки, которые лежали передо мной, вгляделся в мамино зеленое лицо и заплакал оттого, что оказался таким подлецом.

Ведь я ел как бы мамину кровь, и это было ужасно...

* * *

Неизвестно, чем бы все это кончилось, но приехала наша спасительница. Приехала бабушка.

Узнав, что нас обокрали, она поплакала, но воли себе не дала и, испуганно поглядывая на маму, стала готовить завариху.

В углу шепеляво сипел примус, выбрасывая синие язычки огня, вкусно запахло едой, и я подумал о заварихе с вожделением. Какие уж там поджаристые пшенки или греча с молоком! Это было все неправдой, это было забытым и ненастоящим! В углу клокотала завариха, и я видел, как разглаживались морщинки на лбу у мамы.

- Наживете! – приговаривала бабушка, возясь у примуса. – Главное бы живой остался, а костюм наживете, да еще не один, велика беда, а эти бандюги, чтоб им подавиться, бог их накажет, он ведь видит все!

Я с удивлением поглядывал на бабушку, думая, что это она вдруг заговорила про бога, никогда не верила, а теперь такие божественные слова, – но голод брал свое, я нетерпеливо поглядывал на примус, и бабушкины слова тут же забыл.

Однако бабушка их скоро напомнила.

Завариху мы ели целую неделю, потом мука стала кончаться. Однажды, когда я вернулся из школы, бабушка стала собираться.

- Пойду, – сказала она мне, – займу денег.

Я кивнул, бабушка вышла, я стал раскладывать тетрадки, и тут дверь снова хлопнула. Я подумал, что это кто-нибудь из соседей, но это была бабушка. «Забыла чего?» – подумал я про нее, но бабушка стояла в странной позе. Одну руку она держала над собой. Я пригляделся.

Бабушка держала розовую тридцатку.

Не раздеваясь, она подошла к столу и села, не выпуская бумажку.

Лицо ее было бледным.

- Вот! – сказала бабушка. – Вышла, иду и думаю, куда идти! У всех занимали, все без денег сидят. Бог ты мой, думаю, хоть бы ты помог, что ли? А ветер на воле-то... Поземка... Вдруг – гляжу – шуршит бумажка, наклонилась, глядь – тридцатка!

Бабушка смотрела на меня круглыми глазами, будто я и есть бог, у которого она просила помощи.

- Значит, правда! – прошептала она. – Значит он все-таки есть! Видит все...

Бабушка размотала шаль, скинула пальто и вдруг принялась молиться в угол.

Икон там никогда не было – я знал, что молятся на иконы, – но бабушка молилась в угол. И часто-часто кланялась.

- Господи! – шептала бабушка. – Заступись за нашего кормильца, упаси его от смерти.

Я понял, о чем молилась бабушка, и тоже с надеждой посмотрел в угол.

Сердце опять захолонуло у меня. «Господи! – подумал я. – Пусть я буду голодать всю жизнь, пусть только ничего не случится с отцом!».

И снова израненный вагон, и тот, на носилках, предстал передо мной.

Мне сделалось жутко.

- Бабушка! – попросил я. – Бабушка, хватит!

Бабушка послушалась меня, повесила шаль и пальто на место, но ее слова все-таки дошли до бога.

Вечером дверь хлопнула, и в комнату ворвалась мама. На ней не было лица.

- Вася! – плакала она. – Вася!

- Похоронка? – крикнула бабушка, хватая ее за руку. – Говори скорей!

- Нет, – кричала мама и плакала. – Нет, раненый. В госпитале! У нас!

- Сильно? – крикнула бабушка. – Говори!

- Нет, – плакала мама. – В руку, ранение тяжелое считается, но не страшно.

Бабушка оттолкнула ее и закричала:

- Так чего ты реवेशь, дура! – И вдруг заплакала сама, прижавшись к маминому плечу.

В госпиталь мы бежали – я впереди, мама с бабушкой – немного отстав. Время от времени я останавливался, нетерпеливо ждал, когда расстояние между нами сократится, и с недоумением думал о боге.

«Значит, он есть? Значит, он все видит и в самом деле, если дал бабушке денег и спас отца».

«Зачем же тогда вся эта война?» – думал я и разглядывал облака, плывущие над головой: а вдруг облака разойдутся, и я увижу его?

* * *

В душном темном коридоре, где пахло щами из кислой капусты, наобнимавшись, нацеловавшись, наговорившись с отцом, я рассказал отцу про бога.

Я думал, он засмеется, но отец сказал:

– У нас был один солдат, он носил крест и перед боем молился. Но его убили. – Он помолчал и добавил, грустно усмехнувшись: – На бога надейся, а сам не плошай.

Я вглядывался в отца, слушал, что он говорил, любовался им и думал, был уверен – уж отец-то не плошал. Ведь не зря же он не какой-нибудь, а старший сержант, хотя уходил на войну простым солдатом, и не зря же он только ранен, а немец, который стрелял в него, убит.

Отец рассказывал, как он швырнул гранату, и в это время его ранило – пуля задела кость. Его отправляли в Сибирь, но он уговорил начальника санитарного поезда, зная, что они будут ехать мимо нашего города, взял у него направление в мамин госпиталь и пришел туда, с белой забинтованной рукой наперевес.

Мама смотрела в микроскоп, он вошел к ним в лабораторию, получив сначала халат и койку. Маме сделалось плохо – те две женщины дали ей понюхать нашатырного спирта. От мертвых, от крови мама не падала в обморок, а тут упала.

Но теперь все было позади, так мне, по крайней мере, казалось, отец должен был долго лежать в госпитале, а потом еще отдохнуть несколько дней дома, и я ждал этих нескольких дней, как самого счастливого времени.

Этими днями была освещена вся моя жизнь, и, сидя на уроках, я часто представлял лицо отца – выбритое и молодое, совсем как на той карточке, что была на комодке.

Кража, санитарный поезд, мертвый солдат, похоронная Анны Николаевны – все отодвинулось куда-то назад, и часто я приходил в себя только тогда, когда Вовка Крошкин больно пихал меня в бок.

Я вздрагивал, ловил на себе вопросительный взгляд Анны Николаевны, поднимался, не зная, что она спросила, хлопал глазами и не всегда блистал в ответах, но – странное дело – строгая учительница всегда ставила мне не меньше четверки.

Отдуваясь, я садился на место, думая с радостью, что мне безумно везет, но Вовка отрезвил меня.

– Это она тебя жалеет, – сказал он мне однажды на переменке. – Я сказал, что у тебя отец в госпитале, она тебя и жалеет. Что бы ты сказал ему, если бы пару схватил?

Я вздрогнул. В самом деле – что бы я сказал отцу про двойку, а ведь он каждый раз спрашивал меня об отметках. Врать было бы позорно, а сказать правду...

После перемены я разглядывал Анну Николаевну так, словно впервые увидел ее. Вот, значит, она такая. У самой горе, получила похоронную, – она сказала нам потом – убили ее сына, а сама еще жалеет меня, еще думает о том, что у меня отец в госпитале и что мне нельзя получать двоек.

Анна Николаевна рассказывала уроки ровным, спокойным голосом, только иногда он отчего-то звенел, и тогда учительница умолкала на минуту, но потом продолжала снова тем же спокойным и ровным голосом, а я вглядывался в нее, и теплая благодарность к ней расплывалась во мне.

Я вспомнил, как сказала тогда про войну Анна Николаевна. «Мало знать, – говорила она. – Надо понимать, что идет война», – и я теперь знал, что идет война, и понимал тоже. Мне становилось стыдно: значит, все-таки мало понимал, раз жалела меня учительница. Мало! Ведь и кисет я сшил всего один, да и тот было стыдно дарить, потому что он весь скукожился и нитки кое-где торчали петлями. Только вот вышил я хорошо красными нитками: «Смерть фашисту!».

Правильно говорила Анна Николаевна, и, вернувшись домой, я принялся старательно делать уроки, а покончив с ними, начал кроить кисеты из старых лоскутков, которые выделила мне бабушка. Я вышивал красными нитками огненные слова, а Вовка Крошкин, который вступил со мной в пай, сшивал кисеты черными нитками.

Это у него здорово выходило.

* * *

Отец поправлялся, мы с Вовкой шили кисеты, а устав, катались на лыжах.

Наш дом стоял на берегу оврага, и с первого дня, как выпадал прочный снег, его уклоны до блеска укатывались ребячьими лыжами.

С лыжами была проблема, потому что, говорили, лыжи теперь делали для фронта, в магазине их не продавали, да и самого магазина, где раньше продавали лыжи, тоже не было. В городе работал лишь один промтоварный магазин, где давали по ордерам валенки, калоши и изредка выбрасывали пальто. Нам с Вовкой тоже перепало по ордеру, и мы ходили в каких-то леопардовых – желтых с черными пятнами – шубах. Говорят, шубы были американские, нам это было как-то все равно: тигровая одежда Вовке и мне нравилась.

Особенно приятно было кататься в них на лыжах. Правда, если часто падать, шубы промокали, но мы на этот недостаток не обращали внимания, главное, мчась с горы, можно было представить себя леопардом и даже зарычать. Вот мы с Вовкой и рычали, носясь друг за другом, ловя друг друга, играя в пятнашки, и при этом катясь с горки на горку, тормозя, взрыхляя снег и не забывая беречь лыжи, этот страшный дефицит. Вовкины, например, были обиты жестянкой, потому что треснули, мои же пришлось спасать серьезнее. Одна лыжина была у меня сломана, и я отпилил весь хвост до самого валенка. Но раз отпилил одну лыжину, пришлось подравнять и другую. Сперва я огорчился, но потом привык и даже радовался, потому что на этих лыжах, напоминавших скорее коньки, можно было стремительно и круто поворачивать, юлить и всяко елозить по горе, так что почти всегда леопард Вовка Крошкин не мог меня догнать. Вовка злился, громко рычал, но я мог вдруг на полном ходу остановиться, а он не мог. Тогда Вовка придумал новую игру. Мы стали прыгать с нырка. Разгонялись с крутой

горы, заезжали на маленький трамплинчик, который назывался нырком, и потом мерили, кто улетел дальше.

Странное дело, и лыжи были у меня короче, и сам я был легче Вовки – наверное, за счет головы, – а он все-таки меня перепрыгивал. Вовка летел, плавно крутя руками, и мне порой казалось, что голова и правда у него – воздушный шар и что он может улететь куда угодно. Куда угодно Вовка не улетал, но перепрыгивал меня чуть не в два раза, и я, пораженный, придумал себе новое дело.

Я стал ездить с самых высоких гор.

Вовка свои дранки, дребезжащие, когда он прыгал с нырка, жалел, мне жалеть свои коротышки не приходилось, и я, забравшись на самые крутые и обрывистые склоны, мчался вниз, поднимая столбы снежной пыли. Вовка снова потерпел поражение, а за мной укрепилось звание самого отчаянного лыжениста, как меня звал Вовка, нашего оврага.

Некоторые ребята мне завидовали, потому что я жил на краю оврага, мне не надо было далеко ходить: вышел из дому, нацепил свои «коньки», и шуруй вниз. Словом, дело дошло до того, что я ездил задом наперед, естественно, переодев лыжи носками назад.

Но все-таки в овраге была гора, с которой я не мог съехать. С нее никто не мог съехать.

Однажды в овраге появился большой парень на красивых лыжах, да еще с бамбуковыми палками. Он солидно прокатился пару раз, посмотрел на мои фортеля и вдруг полез на ту гору.

Она начиналась у забора, который упирался в овраг, и была почти отвесная. Мы замерли, выстроившись в неровный ряд, а большой парень забрался наверх и вдруг поехал.

Что было дальше, трудно описать. Поднялся столб снежного крошева, раздался треск, а когда все утихло, мы увидели, как из сугроба, с заляпанным снегом лицом, выбирается взбешенный парень. Редкий случай – сразу обе лыжины были сломаны, он матюкался, как извозчик, и, отыскав меня глазами в толпе мальчишек, велел:

– А ну, ты!

Я не очень испугался, можно сказать, не испугался вообще, хотя никакого желания ехать с этой горы у меня не было. Но овражные мальчишки подбадривали меня, толкнул в бок и Вовка Крошкин, и я стал карабкаться к забору.

Сверху гора была еще отвесней, чем казалась снизу, у меня запищало что-то в животе, но отступить было стыдно, к тому же и большой парень мог надавать, и я шагнул вперед.

Снежные сугробы кинулись мне в лицо, все завертелось перед глазами, и на секунду я даже, кажется, потерял сознание. Когда я очнулся, все ребята, кроме Вовки, смеялись, а большой парень, разглядев меня, сказал удовлетворенно:

– То-то же! – И стал собирать остатки своих лыж.

В общем, гора эта была для меня неприступной, и, катаясь с Вовкой, я старался ее не замечать, старался на нее не смотреть, старался о ней не думать.

Мы гонялись друг за другом в своих леопардовых шкурах, чувствуя себя сильными и ловкими, как эти заморские звери, прыгали с нырков – больших и маленьких, а накатавшись, шли домой,

чтобы заняться нашим главным делом.

Чтобы шить кисеты.

* * *

Производство кисетов процветало, честно признаться, не столько благодаря нашему шитейному умению, сколько нашему энтузиазму. Видя, как мы корпели, согнув спины над лоскутками, пытаюсь с помощью иголки и ниток соединить их в подобие мешочков, бабушка не выдерживала, снимала со швейной машинки «Зингер» деревянный футляр и, нацепив очки, отчего становилась необычайно строгой, строчила своей машинкой, как автоматом, ровные стежки, быстро и аккуратно делала заготовки для нашей фронтальной продукции. Вернувшись с работы, к нам присоединилась и мама – она вышивала легко и красиво, не чета нам, слова «Смерть фашисту!». Помогали нам заочно завербованная Вовкой его мать и сестренка, так что дела наши шли бойко, горка кисетов росла, мы с Вовкой, оставив иглу и нитку, теперь лишь вдевали в обшитый рант кисетов тесемочки, чтобы можно было заматывать табак по всем правилам курительного дела.

Наконец настал торжественный день.

Накануне, предупредив своих, Вовка остался ночевать у нас. Теснясь в моей узкой кровати, мы долго не могли уснуть, шептались и шушукались о предстоящем, таращили в темноте глаза, стараясь разглядеть стоящую на столе просторную, как древняя ладья, большую бельевую корзину. Корзина доверху была набита пустыми кисетами и аккуратно укрыта холщовой тряпицей. Наутро нам с Вовкой предстояло открыться: притащить корзину в школу и отдать ее Анне Николаевне.

Нельзя сказать, чтобы мы недооценивали содеянное нами. Нельзя сказать, чтобы наше честолюбие не ожидало барабанов славы. Еще бы, ведь в корзине помещался кисетный запас на целый полк, ну если не на полк, так на роту, хотя, признаться, разницу между ними ни я, ни Вовка не очень-то улавливали. Словом, не случайно поутру, когда мы, сопровождаемые почетным эскортом из мамы и бабушки, тащили нашу корзину, в моей голове разливалась щекочущая сердце медь духового оркестра и дробь барабанных палочек. Мне казалось – утренняя темнота сегодня не так густа, иначе нас не разглядят встречные прохожие, что у школы наверняка стоит ликующая народная толпа, среди которых непременно есть Нинка Правда и уж, конечно, девчонки из третьего класса, которых мы с Вовкой – безусловно, с маминкой и бабушкиной помощью – перещеголяли в шитье кисетов. Теперь мне не казалось предосудительным, что мы занимались таким девчачьим делом – шили и вышивали: героический результат покрыл все прозаические издержки.

Корзина, плотно груженная невесомыми кисетами, тянула нас к земле, постепенно звон литавр в моей голове сменился тяжелым перестуком крови. Я прерывисто дышал, капельки пота выползали из-под шапки. Вовка выглядел не лучше.

Бабушка и мама пытались отнять у нас наш груз, однако мы не поддавались их напористой агитации. Можно было упасть, надорвавшись, можно было вконец запариться, но донести корзину до стола Анны Николаевны мы просто обязаны, потому что, в конце концов, честолюбие было лишь как бы наваром в хорошей ухе. Главным же было не оно. Главным был наш долг, мой долг, к которому призывала та женщина в платке, скинутом с головы, на отцовской открытке.

Недалеко от школы, согласно уговору, мама и бабушка остановились.

- Ну, с богом! - сказала бабушка, и мне показалось, что она волнуется. Я подумал, что мы были несправедливы. Ведь мама и бабушка имели не меньше нас прав нести эту торжественную корзину. Ведь это был не только наш, но и их долг. Раскаяние часто приходит слишком поздно. Мы были возле школы, а уговор всегда дороже денег. Мама и бабушка сказали нам еще какие-то напутственные слова, мы с Вовкой кивнули и, ухватившись за корзинную ручку, откинувшись от нее по бокам в последнем усилии, потащили ее в школу.

И вот пробил долгожданный час.

Окруженные толпой ребят, натужась в последний раз, мы воздвигали корзину на учительский стол, Анна Николаевна сняла холщовую тряпицу, и я услышал вдруг коллективный вздох. Кто-то хлопнул меня по плечу, кто-то ткнул в бок, я видел, как получал свое и Вовка, но это были не обидные тумачи, наоборот, в этом выразалось всеобщее признание.

- Ну! - сказала Анна Николаевна. - Не ожидала!

Я взглянул на нее. Глаза у учительницы влажно поблескивали.

Она смотрела на нас с Вовкой ласково и удивленно сразу.

- Что же, - спросила Анна Николаевна, - это вы вдвоем?

- Вдвоем! - гордо сказал Вовка.

Гром оркестра снова зазвучал во мне. Звенели медные тарелки, гудела толстая кожа барабанов. И вдруг я вспомнил бабушку - как волновалась она. Мама, наверное, волновалась тоже, хотя она и виду не подала. А Вовкиной мамы и его сестренки с нами не было вовсе, и они не волновались, но ведь это и они помогали нам.

Гром оркестра мгновенно утих. Я с сожалением посмотрел на гордого Вовку. Я его понимал, конечно же, я его понимал! «Вдвоем!» - сказал Вовка и в общем-то он был прав. Но лишь - в общем. Оставались еще подробности, про которые можно было бы не говорить. Но бабушка волновалась.

И потом, мы выполняли долг.

А когда выполняют долг, надо быть честным.

- Вдвоем! - подтвердил я Вовкины слова. - Но нам помогали.

- Кто? - спросила с интересом Анна Николаевна.

- Мама, бабушка, мама Крошкина и его сестра, - быстро перечислил я и вздохнул с облегчением, как бы скинув с себя ношу. Я думал, Вовка осудит меня, но - удивительно - он подмигнул мне одобряюще. Однако самым удивительным было не это. Самым удивительным было то, что, услышав перечисленных мною помощников, Анна Николаевна ничуть не огорчилась. Наоборот, она воскликнула:

- Молодцы! Вдвойне молодцы!

Признаться, сперва я не очень понял, почему мы молодцы вдвойне, но учительница сказала, обращаясь ко всем:

- Мало сделать самому хорошее. Надо увлечь им других!

Никто не слышал, как прозвенел звонок, пока Анна Николаевна не спохватилась сама. Она рассадила нас за парты, открыла журнал, чтобы спросить кого-нибудь, но вдруг подняла голову:

- Вова и Коля, - сказала она, - сделали замечательный подарок фронту. Я думаю, что их поддержит весь класс.

Ребята зашумели, загалдели, хвастаясь, что если взяться всем вместе, можно сделать десять таких корзин, но Анна Николаевна предложила:

- Давайте попробуем собрать табак... Я знаю, что табак сейчас большая редкость, но попробовать можно. Скажите об этом дома, попросите помочь взрослых, а потом... - она задумалась. - А потом мы подарим кисеты бойцам.

- Как? - спросил Вовка.

- Прямо бойцам, - ответила Анна Николаевна. - Время от времени из города уходят эшелоны на фронт. Вот мы и подарим кисеты тем, кто уезжает воевать.

Она обвела класс внимательными глазами. Я посмотрел на учительницу и вдруг заметил, что ее лоб прорезала глубокая морщина. Никогда раньше я не замечал этой морщины.

- А передать кисеты, - сказала она, - я предлагаю поручить Коле и Вове.

Ребята согласно закивали головами, и в моих ушах снова послышался звук оркестра. Я почувствовал, как уши у меня становятся горячими, будто кто-то натер их снегом.

Я посмотрел на Вовку. Он заливался густой краской, отчего его голова походила на огромный помидор.

Вовка смотрел в парту, боясь оглянуться.

* * *

Когда человек чего-нибудь долго ждет, он привыкает к ожиданию. И тем неожиданней становится развязка.

В тот же день, когда прогремел гром литавр и нас с Вовкой выбрали делегатами для вручения кисетов бойцам, я вернулся домой возбужденным и слегка хмельным от такого успеха. Однако ни возбужденность, ни счастливое головокружение не заслонили необычайно сильного и вкусного запаха, который ударил мне в нос, едва я переступил наш порог. Раздувая ноздри, я шагнул в комнату, увидев огромное блюдо жареной картошки, в которой дымились куски мяса, поперхнулся собственной слюной и вдруг... ослеп. Да, это было столь неожиданно и бесшумно, что мне показалось, будто я ослеп. В глазах сперва стало темно, а уже потом я уловил прикосновение чьих-то незнакомых рук. Я безуспешно трепыхнулся, но меня держали крепко, я понял, что это шутка, и принял ее. Надо было отгадать, кто закрыл мне глаза, но руки, заслонившие свет, ни на мамыны, ни на бабушкины не походили. Я еще раз потрогал эти руки, нащупал рукава с металлическими пуговками, и в это время до меня донесся тонкий табачный запах.

Неожиданная догадка пронзила меня, я подпрыгнул независимо от самого себя, видно, какой-то радостный импульс прошиб меня, вырвался из крепких рук, повернулся и повис на шее отца.

Он прижимал меня, колот щетиной, смеялся, похлопывал ниже спины, что-то приговаривал, а я молчал, сжимая зубы, чтобы не расплакаться.

Я ждал отца, знал, что он придет домой, выписавшись из госпиталя, и все время думал о дне, когда это случится. И вот этот день пришел, я обнимал отца и не верил, все никак не мог поверить, что буду теперь с ним эти несколько дней. Буду с ним говорить, обсуждать разные вещи, смеяться, наверное, расскажу, как в прошлом году нюхал его открытку, думая, что она пахнет маслом, – и вообще, буду жить с отцом, с отцом, понимаете, с отцом!

Наконец отец отпустил меня, мы уселись за стол, вокруг блюда с картошкой и мясом, но – странное дело! – великолепная еда неожиданно утратила для меня свое прекрасное значение. Я ел картошку с маслом, думал о том, что мама, выходит, снова сдавала кровь, а сам смотрел на отца, разглядывал его, волновался и горько вздыхал, лишь частицей сознания отмечая вкус небывалой пищи.

Мама и бабушка восхищенно разглядывали отца, прямо не сводили с него глаз, а он посмеивался, шутил, говорил про какие-то пустяки и совсем не хотел рассказывать про войну. Я просил его об этом, но он отмахивался, пел в шутку: «Пушки, пулеметы, летчики-пилоты!», и говорил, чтобы лучше мы рассказали, как тут живем, как работаем и как учимся. Мама ему убедительно отвечала, что, как работает она, он видел сам, когда лежал в госпитале, что бабушка хлопчет, чтобы нас накормить, и что я учусь нормально пока что, правда, выполняю большую общественную работу, вот вместе с товарищем сшил целую корзину кисетов для фронта.

Сказав это, мама одобрительно похлопала меня по плечу, а отец вдруг стал серьезным, не вставая протянул мне ладонь, и я положил в нее свою руку. Отец крепко сжал мою кисть, задумчиво вглядываясь в меня, потом тряхнул головой.

– Вот это по-нашему, – сказал он. – Вот это по-военному!

У меня по спине побежали мурашки, запершило в горле от такой похвалы отца, и я, вполне возможно, расплакался, если бы не выручила бабушка. Она вдруг горько вздохнула, виновато поглядела на отца и тронула его за рукав.

– Вася, Вася! – сказала она, горестно покачивая седой головой со смешным узелком на затылке. – Беда-то какая, ты не знаешь, ведь нас обокрали, и костюм твой унесли, как ты теперь, когда вернешься-то?

Отец улыбнулся и прямо повторил бабушкины слова, которые она сама говорила когда-то:

– Вернуться бы, – сказал он беспечным голосом. – Вернуться бы, а там уж как-нибудь, справим новый.

Он помолчал, и вдруг заплакала мама.

Мама заплакала и, словно поняв ее, словно поняв, отчего она заплакала, бабушка тревожно спросила:

– Когда?

– Через трое суток, – ответил отец, поглаживая маму по плечу – не успокаивая, не говоря никаких слов, только поглаживая, – и повторил: – Под Сталинград, полагаю, идем.

В нашем классе на подоконнике стоял старый глобус, и, бывало, я крутил его, забавляясь, как мельтешат перед глазами океаны и страны. На другой день я отыскал на глобусе Сталинград. Это была малюсенькая точка возле голубой ниточки – Волги. И точка и река были ничтожно малы по сравнению со всем глобусом, а если его крутануть – исчезали совсем, сливаясь с другими такими же точками и ниточками. Я крутил глобус, глядел за окно на пронзительно белые сугробы и думал о том, что ведь есть же где-то жаркие страны и в этих странах, пока у нас зима, люди ходят в одних трусах и не едят завариху, как мы, и солдаты в этих странах не лежат, коченея от мороза, в снегу.

Вернувшись домой, я сказал про жаркие страны отцу. Он задумался, но не согласился со мной.

– Везде сейчас плохо, – сказал он, – раз такая война. И в жарких странах тоже плохо. Вон, немцы даже в Африку забрались.

Меня это потрясло. Я никогда не слышал об этом, никто мне не говорил. Африку я знал хорошо, Африка мне представлялась смешной, потому что еще до школы я выучил забавные стихи, где была смешная строчка: «Не ходите, дети, в Африку гулять!». Это были стихи, а теперь была правда, немцы, оказывается, добрались и до Африки.

Я представлял себе Лимпопо, у которой фырчат фашистские танки, и мне стало ужасно тоскливо, будто Африка мне дороже Сталинграда, хотя Африку я видел только на картинке в детской книжке, а под Сталинград уезжал отец.

Заметив, что я скис, отец велел мне одеться.

– На лыжах-то ты катаешься? – спросил он и, не дожидаясь моего ответа, предложил: – Ну, так давай покатаемся.

Я засуетился, вытащил свои «коньки», волнуясь, думая о том, как бы не ударить перед отцом лицом в грязь, как бы не осрамиться, хоть я и лучший «лыженист» оврага, но ведь бывает всякое, особенно в такой ответственный момент.

Мы вышли, – я в леопардовой американской шубе, отец в шинели с красными лычками петлиц. Я нацепил лыжи и для начала прыгнул с нырка – однако не просто прыгнул, а удивительно далеко и, тормозя, развернулся вокруг себя на полный круг.

– Ого! – сказал отец, когда я к нему подъехал, и эта сценка вскружила мою голову. Я забрался на длинную и пологую горку и, вихляя, подпрыгивая, делая веера и разные повороты, выкрутил на снегу целые кружева.

Отец засмеялся, помотал головой, восхищаясь, и показал мне на горку, на ту самую злосчастную гору, которая начиналась от забора и которую я – единственную во всем овраге – не мог одолеть.

– А с той можешь? – спросил он, явно задираясь.

– Не! – признался я честно, но отец не поверил.

– Это же простая горка! – сказал он. – Только крутая, и все! Не побоишься и проедешь шутя.

«Шутя, – проворчал я про себя. – Поглядел бы, как тот парень схряпал сразу обе лыжи».

– Ну! – подзаводил меня отец. – А так хорошо катаешься!

Я мотнул головой и нехотя стал взбираться на гору.

С высоты, от забора, отец показался совсем маленьким, и сердце у меня заколотилось часто-часто. И все-таки я надеялся. Мне казалось, что кто-то неизвестный поможет мне одолеть высоту, одолеть, чтобы отец снова, как вчера, похвалил меня. Я глубоко вздохнул, пытаюсь успокоить себя и освободиться от страха и от волнения. Как будто помогло. Я взглянул в последний раз на маленькую фигурку отца и шагнул вниз.

Сначала я ехал хорошо – пригнувшись, как всегда, согнув колени и выставив для устойчивости одну ногу вперед. Примерно на середине горы – лишь на мгновение – я возликовал, что все в порядке, что я съехал-таки с этой горы, и тут же струя снега ворвалась мне за шиворот.

Отплевываясь, проклиная себя за преждевременную уверенность, я медленно подъезжал к отцу. Он притопывал сапогами, незло смеялся и, когда я подъехал к нему, неожиданно сказал:

– А ну-ка, дай я!

Улыбаясь, я снял лыжи, представляя, как неуклюжий отец на моих обпиленных лыжах поднимет гору снежной пыли, воткнувшись в сугроб, попытался сказать об этом отцу, но он лишь улыбнулся, прицепил «коньки» к сапогам и уверенно полез на гору.

К этой высоте и подбирался, переступая лесенкой, – гора была крутая, а отец поднимался елочкой, и лишь последние метры, там, где было совсем круто, почти отвесно, шел лесенкой, врубая лыжи в плотный снег.

У забора, обернувшись ко мне, он снял шапку. Звездочка сверкнула на солнце, и неожиданно – вот так, с шапкой, зажатой в раненой руке, – отец полетел вниз. Руку с шапкой он отставил в сторону, как бы оберегая ее на всякий случай.

Это видение всегда со мной, я на всю жизнь запомнил, как мчался отец вниз – эти две или три секунды. Его тело согнулось, полы шинели раздвинулись на ветру, освобождая острые колени, он стал похож на натянутую тетиву лука. Все эти секунды, пока отец мчался вниз с отвесной высоты, его ноги ни разу не вздрогнули, не пошатнулись – словно он только тем и занимался каждый день, что ездил с этой горы. Он промчался, словно стремительно пущенная стрела, вздымая за собой снежный вихрь, потом тетива распрямилась, и отец, высокий и прямой, сделал едва уловимое движение, тормознул возле меня. Отпиленные лыжи выглядели смехотворно на его тяжелых сапогах, ему – высокому, длинноногую, было втрое труднее ехать на таких «коньках», но он проехал, пронесся, как вихрь, с первого раза одолев обрывистую горку.

Высота была все такой же, только теперь прибавилась еще зависть к отцу – вот он сумел, хотя и воевал, и не катался с горок, а я не умею. Но мне не хотелось признать, что отец катается лучше меня, и вместо покорности и послушания ученика мною овладел азарт игрока.

Колени у меня дрогнули, и я снова очутился в снегу.

– Еще раз! – приказал мне отец, но я уже лез на горку сам. Видно, от возбуждения, в третий раз я упал, едва лишь шагнул с обрыва, и меня несло по всей горе, ломая и переключивая.

– Ничего, ничего! – ободрил меня отец, едва я разлепил глаза. – Ты, главное, спокойней!

После четвертой или пятой неудачи отцовские слова стали доходить до меня. Азарт улетучился, и теперь появилось терпение. Каждый раз, взбираясь на гору, я шептал себе:

«Сейчас, сейчас!» – но ничего не выходило и сейчас, я снова рыл носом сугробы и снова исступленно лез на эту гору, готовый в любую минуту зареветь от отчаяния, оттого, что я оказался перед отцом таким слабым и беспомощным.

Наконец отец остановил меня.

– Ты не волнуйся, – сказал он, положив мне на плечо широкую ладонь. – Я тоже, как ты, не мог с нее съехать, когда был мальчишкой. Потом одолел. Надо только выбросить из себя бессилие, понял? Отдохни, наберись сил и полезай снова.

Я чувствовал, как гудят у меня от усталости ноги – даже руки и те устали от этих непрерывных подъемов и спусков, но кивнул и полез снова. И снова свалился.

Стало уже темно, а я все мотался на гору и с горы, пока отец не сказал твердо:

– Ну все! Хватит. Идем домой.

Я снял лыжи, и мы пошли, проваливаясь в снег. По моему мокрому от падений лицу ползли слезы, но я отворачивался, проклиная себя за слабость. «Все! – думал я. – Ведь завтра отец уедет и не увидит, что я могу съехать с этой горы!».

Отец словно услышал меня.

– Ты съедешь! – сказал он серьезно. – Я уверен, съедешь. Тогда напиши мне письмо, слышишь!

Я кивнул головой. Конечно, напишу.

Ясное дело, напишу, какой вопрос, как съеду, так и напишу.

* * *

На уроках Анна Николаевна объявила нам, что сегодня мы вручаем кисеты бойцам. Сердце прямо оборвалось во мне. Анна Николаевна сказала, чтобы мы приходили в школу вечером, а ведь вечером уезжал отец. Что же теперь? Я, конечно, должен вручать кисеты, раз меня выбрали делегатом, да и кисеты эти были моим долгом, но не мог же я не проводить отца.

Я разрывался на части – долг и любовь тянули меня в разные стороны, и ни от того, ни от другого я не вправе был отказаться. Терзаемый, я пришел из школы домой. Увидев мое постное лицо, бабушка тут же выяснила причину, пригорюнилась, поняв, но в это время с улицы вернулся отец, ходивший за какими-то документами.

– Не беда! – сказал он. – Мы с тобой простимся дома, какая разница, на вокзале или дома, а вручить кисеты ты должен сам.

И хотя это было полурешением, скорее даже жертвой со стороны отца, со стороны личного в пользу общественного, я как-то ободрился, и бабушка принялась гладить мне белую рубашку, потому что Анна Николаевна велела нам на всякий случай одеться понаряднее, так как где будет происходить торжественное вручение кисетов, пока неизвестно.

Время клонилось к вечеру, солнце торопливо уходило за тополя, вернулась, отпросившись пораньше с работы, мама, и настал печальный час.

Отец снял с гимнастерки звездчатый ремень, натянул шинель и подпоясал ее этим ремнем. Потом аккуратно застегнул верхние пуговицы, надел шапку.

Я тревожно смотрел на отца и думал, что уже где-то видел это. Конечно, это было уже, когда началась война, я даже не понял тогда толком, что началась война. Просто не очень понимал, что это такое.

Тогда отец был в длинном черном пиджаке и в модной крапчатой кепке с длинным козырьком. На пиджаке у него висел значок ГТО на серебряной цепочке, а за спиной зеленый мешок. Значок отец подарил мне тогда, а зеленый мешок был с ним и сейчас. Он повесил его на одно плечо, и мы присели.

Я видел, как иногда вздрагивало мамино лицо – она хотела плакать, но не давала себе воли, сдерживалась – только вздрагивало лицо, я видел, как комкала платок бабушка и подозрительно сухо смотрела на меня. Один отец был спокоен и невозмутим. Он сидел, задумавшись, потом встрепенулся и встал.

- С богом! – сказала бабушка, и отец наклонился ко мне.

- Главное, одолеть бессилие – всегда и во всем, – сказал он шепотом, чтобы не услышали мама и бабушка. – Главное, почувствовать себя сильным!

Я кивнул ему понимающе, и мы вышли на улицу.

На углу наши дороги расходились. Отцу, маме и бабушке надо было к вокзалу, мне – в школу.

До угла мы с отцом шли вместе, тесно прижавшись друг к другу, он держал меня за плечо. Прощаясь, я обнял отца за шею и снова почувствовал его запах – табак и еще что-то неуловимое, мужское и сильное.

- Ну, сын! – сказал отец и прижал меня в последний раз к колючей шинели. Потом он отстранил меня, повернул к школе и слегка подтолкнул.

Я сделал несколько шагов и обернулся.

Все это было уже один раз. Я стоял с бабушкой возле ворот, бездумно махал рукой вслед отцу, не очень понимая, что началась война.

Сейчас было то же – отец снова уходил на фронт. Но теперь я уже знал, что такое война. Я видел израненный санитарный вагон, желтые пятки убитого бойца, я видел кровь под микроскопом и ел еду, заработанную маминой кровью, я шил кисеты и ел завариху, лишь во сне вспоминая пшенку, я боялся за отца и встретил его, раненого, а теперь провожал снова, второй раз. Провожал – НА ВОЙНУ!

Я обернулся и бросился к отцу. Я тискал его, я обнимал, я жадно вдыхал отцовские запахи, стараясь запомнить их, и едва сдерживался, чтобы не зареветь.

- Ну, ну! – сказал отец. – Смелее! Шагай! – и снова повернул меня к школе, подтолкнул вперед.

Я пошел, часто оборачиваясь и размахивая рукой, пока, наконец, не ответил мне в последний раз, отец с мамой и бабушкой не скрылись за углом.

Я вздохнул.

Теперь мне предстояло выполнить долг.

* * *

Еще издали я увидел у школы черную «эмку». Никогда возле нашей школы не стояли «эмки», и, почувствовав, что это связано с нами, я припустил бегом. Вовка Крошкин встретил меня на пороге. Из-под нежаркого леопардового пальто выставлялась, как и у меня, белая рубаха. Вовка был возбужден, суетился, отчего крутил во все стороны своей большой головой.

- Ну, где ты? - воскликнул он, увидев меня, словно уже не чаял со мной встретиться, и тут же, без передыха, продолжал: - За нами машина пришла!

- Видел, - ответил я невозмутимо, будто так оно и должно быть, и пошел в класс, не обращая внимания на суемящегося, взволнованного Вовку.

- А! - сказала, увидев меня, Анна Николаевна. - Вот и наш Коля!

Рядом с учительницей стоял худой, очкастый человек, похожий на какого-нибудь завуча или директора школы, не будь на нем военной формы.

- Давай пять! - сказал военный, протягивая мне руку. - Давай, давай, не стесняйся! Вот тебе наше солдатское спасибо! Тебе и товарищу твоему!

Он кивнул на Вовку, который стоял у меня за спиной. Вовка выдвинулся вперед и сам протянул руку.

- Вот, вот! - сказал офицер, пожимая Вовкину ладошку. - И тебе спасибо! Потому как для солдата первое дело - махорочка!

Анна Николаевна стала стягивать со стола корзину, но офицер не дал ей, подхватил корзину сам, и мы двинулись вслед за ним к «эмке». В коридоре стояла нянечка, держала в руке медный колокольчик, и, когда мы выходили, она махнула нам рукой, отчего колокольчик - громко, на всю школу - звякнул.

За рулем тоже сидел военный, в «эмке» было хорошо - приятно пахло кожей, легко покачивало, и мы не заметили, как машина остановилась.

- Приехали! - сказал военный и добавил вдруг, став строгим: - Приготовьтесь!

Анна Николаевна заволновалась, торопливо скинула с корзины холщовую тряпицу. Кисеты лежали как обычно, только сверху было несколько мешочков, полных табака. Наш класс бурно взялся за дело, ребята откуда-то нанесли табаку, папиросной бумаги и даже просто папирос - наверное, оставшихся с довоенного времени. Правда, всего этого оказалось не так много - на десяток кисетов, не больше. Но все же эти кисеты были не пустые, а с табаком, и ведь дарить такие кисеты приятнее, чем пустые. Шофер помог Анне Николаевне вытащить корзину, вслед за корзиной из «эмки» выскочили и мы, и я почувствовал, как у меня холодеют кончики пальцев.

Я думал, нас привезут к какому-нибудь дому, мы разденемся и в белых рубашках станем дарить бойцам наши кисеты; наверное, и Анна Николаевна думала так, раз велела нам одеться получше, но то, что мы увидели, было совсем по-другому. Совсем.

Слева коричневой стеной был поезд, обыкновенный поезд - одна к одной стояли теплушки. А справа, выстроившись в черные квадраты, стояли бойцы. Правда, у них не было оружия, но во всем остальном это были настоящие бойцы - зеленые шинели, черные сапоги, серые ушанки со звездочками. Звездочки мерцали в свете вечерних фонарей, и казалось, что это сверкают маленькие кристаллики. Перед каждым квадратом бойцов стояли командиры, туго

перетянутые ремнями. На командирах были белые полушубки.

Наш очкастый офицер, похожий на завуча или директора школы, подбежал к кучке военных в белых полушубках. Это были тоже командиры, но они стояли не в строю, а отдельно. Наш очкастый держал руку у шапки, что-то говорил, мы не слышали – что, и когда кончил, военный в полушубке, которому он докладывал, пошел к нам.

Приблизившись, он козырнул Анне Николаевне, а потом нам – каждому в отдельности.

- Полковник Николаев! – сказал он и протянул руку Вовке.

- Крошкин! – ответил Вовка и добавил: – Ученик первого класса.

Полковник не рассмеялся, не улыбнулся даже, козырнул и мне, а потом спросил Анну Николаевну:

- Разрешите начинать?

Будто Анна Николаевна была генералом, а мы с Вовкой хоть, может, и не генералами, но важными командирами.

Анна Николаевна кивнула, а полковник Николаев шагнул вперед и крикнул раскатистым голосом:

- Товар-рици бойцы! К нам приехали представители одной из школ города, где сформирована наша часть. Они вручат вам кисеты, которые сшили ребята этой школы. Скажем же им спасибо!

Настала недолгая пауза, я ждал, что скажет еще полковник Николаев, но он молчал. И вдруг... Вдруг... Я никогда не забуду этого, сколько бы времени ни прошло с тех пор, потому что забыть этого нельзя.

Мгновенье была тишина, и вдруг раздался рокот. Сперва я не понял ничего. А когда понял, заревел. Не выдержали нервы. Над площадкой, где стояли бойцы, неслось раскатистое, громовое, мощное:

- У-у-р-р-а-а-а!

Ура! Бойцы кричали «ура»!

Они кричали это нам. Анне Николаевне и нам с Вовкой, каким-то там первоклашкам.

Я пробовал успокоиться, кусал губы, но слезы лились из меня сами.

Наконец все стихло, и полковник Николаев приказал негромко:

- Действуйте!

Я схватил несколько наполненных табаком кисетов и бросился к солдатскому строю, на ходу размазывая слезы. Мне было стыдно этих слез, таких неподходящих в торжественную минуту, и я совал кисеты, не глядя на бойцов. Меня похлопывали по плечам, какой-то боец даже поцеловал, а я все шел с опущенной головой, боясь, что солдаты разглядят мои мокрые щеки.

Неожиданно кто-то крепко взял меня за плечо. Я протянул кисет, шагнул было дальше, но

крепкая рука не отпускала меня.

Я поднял голову. Отец! Это был отец!

Я снова скорчил гримасу – что-то много сегодня обрушилось на меня событий, – но отец присел на корточки, поближе ко мне, и повторил:

- Ну, ну, сын! Помни, что я сказал!

Я вспомнил. Он говорил про бессилие. Про бессилие и силу, которая лишь одна может одолеть бессилие. Я кивнул, вздохнул облегченно и обернулся. Вовка раздавал уже пустые кисеты, ему помогали Анна Николаевна и тот очкастый офицер.

- Иди – сказал мне отец, как бы снова подталкивая. – Иди, у тебя дело!

Но я не мог шагнуть.

- Иди! – приказал отец.

- Хорошо, – ответил я ему и позвал: – Папа!

- Что? – спросил отец, улыбаясь.

- Покажи, где он?

Отец понял и сунул руку в карман. Он вытащил кисет, и я разглядел на нем свои слова: «Смерть фашисту!».

- Возвращайся! – шепнул я, и отец кивнул.

- Хорошо! – сказал он. – А ты напиши. Напиши, когда не упадешь.

Я кивнул и махнул отцу, отступая. Мне надо было раздать еще целую стопку пустых кисетов.

Я шел вдоль строя, раздавая наши кисеты, и смотрел теперь в лица бойцов. Они кивали, они улыбались, они говорили – «Учись, сынок!», говорили, прочитав мою надпись, – «Не сомневайся, будем бить фашиста!», а я шел и шел, раздавая кисеты, как раздают награды, пока не послышалась протяжная команда:

- По ваго-онам!

Четко, не теряя порядка, солдаты побежали к вагонам, а я стоял с нерозданными кисетами.

Все произошло в считанные минуты – бойцы были уже в теплушках, только командиры в белых полушубках еще стояли возле вагонов. Я, словно замороженный, разглядывал молчаливый эшелон с людьми, готовыми воевать, и очнулся, лишь когда впереди сипло гуднул паровоз.

Командиры взобрались в теплушки, поезд медленно покатился, и я кинулся к нему:

- Дяденьки! – крикнул я, поравнявшись с вагоном. – Кисеты возьмите, дяденьки!

Кто-то наклонился ко мне сверху, подхватил мою пачку и исчез во мраке.

- Все в порядке? – крикнул я, волнуясь.

- Не волнуйся, сынок, - сказал мне солдат из медленно плывущего поезда. - Все в порядке...

Я остановился.

Поезд завернулся дугой, и на последнем вагоне замаячил красный огонек.

Поезд уходил на войну.

Война продолжалась...

И много было впереди всего.

У меня - крутых гор. У отца - грудных дней.

Комментарии

Крутые горы. - Впервые в журнале «Юность», 1971, № 6. В том же году повесть вышла в сборнике «Музыка» (М., «Детская литература»), куда включены также повести «Музыка» и «Деревянные кони».

В предисловии к книге «Музыка» автор, обращаясь к юным читателям, писал, что хочет рассказать о жизни «не ровной и гладкой, а беспокойной и трепетной, о жизни обыкновенного мальчишки, вашего сверстника». Критика сразу восприняла «Крутые горы», «Музыку» и «Деревянных коней» как исповедь поколения, чье детство оказалось неотделимым от фронтовой атмосферы, в которой на протяжении четырех долгих военных лет жил советский народ.

«Новая повесть писателя „Крутые горы“ - ключ ко всему созданному и, вероятно, задуманному им, - писал в одной из первых рецензий на повесть поэт Александр Богучаров. - В этой повести первоклассник Коля, выражаясь словами поэта, старше нынешних своих ровесников „на Отечественную войну“.

«Мама старалась скрыть от меня войну» - с этого начинаются «Крутые горы». Но нельзя ничего скрыть... Ничего, а войну тем более. В «Крутых горах», написанных гораздо позже «Лабиринта» и «Чистых камушков», Альберт Лиханов определяет для себя и для читателя меру страдания и вызревания человеческой личности, он создает здесь *идеал* Коли и свой собственный - образ мужчины, не могущего предать и швырнуть в лабиринт жизни маленькое и все понимающее сердце сына» («Детская литература», 1972, № 1).

На протяжении последующих лет критика не раз возвращалась к повести, отмечая символичность ее заглавия. «...Герой повести „Крутые горы“ упорно пытается съехать на лыжах с пока еще недоступной ему высоты - история будничная, вырастающая до значения символа: главное - побороть в себе чувство неуверенности, скованности перед препятствием, будь то гора или что-то более существенное» (Аристарх Адрианов. «Учить жить». - «Октябрь», 1980, № 11).

В 1971 году повесть «Крутые горы» удостоена 2-й премии Всероссийского конкурса на лучшую книгу для детей. «Крутые горы» вошли в группу произведений (сборник «Музыка», трилогия «Семейные обстоятельства», роман «Мой генерал»), за которые А. Лиханов был в 1976 году награжден премией Ленинского комсомола.

Повесть переведена на венгерский, молдавский, эстонский, немецкий, польский и японский языки.